

Ольга ИЛЬНИЦКАЯ

“Я СКАЖУ ЭТО НАЧЕРНО, ШЕПОТОМ...”

В мае 1973 года мы с Глебом приехали в Москву и вышли из метро “Новые Черемушки”. Подошли к дому, вокруг которого было много солнца и одуванчиков. Но пока я не сплела венок из одуванчиков, мы в дом не вошли...

А когда вошли, то этот мой венок на голове обрадовал хозяйина, и сразу все у меня с ним получилось. Мы друг друга очень понравились. А у Глеба с ним получилось раньше, в его первый приезд. Хозяином дома в Черемушках был Михаил Яковлевич Гефтер. Мы называли его М. Я. — он не возражал.

Письменный стол М. Я. стоял чуть наискосок у окна. И вот М. Я. сидит в кресле за столом, я — перед ним на корточках, потатарски. А Глеб к двери плечом прислонился... И мы говорим: об Одессе, о цветах, почему-то о Дантоне, французской буржуазии, Твардовском и о детях (а я уже немножко беременная Сережкой, но это пока тайна для всех — и тут я призналась ему, сразу ставшему своим и родным).

Мы потом с Глебом убежали по Москве гулять, к Генриху Батищеву поехали (мы тогда оставались у Генриха в его поселке Северный).

После первой же встречи с М. Я. у меня началась с ним переписка, сразу — глубоко, лично, всерьез. И длилась она до его ухода, до 95 года.

Письма вращали в жизнь, и благодаря этой переписке проза начала из меня расти, как дерево, ветвясь в разные жанры, а М. Я. говорил: пиши не только стихи, пиши и прозу, не бойся, у тебя получится. И давал мне задания: написать о вещах из Одесского археологического музея, по которому мы с ним любили бродить. И я долго сочиняла разные сказки — об окаменевшем хлебе древних египтян (который мы с ним даже погрызли, таясь от моих коллег, я тогда в музее экскурсоводом работала) — он по вкусу напоминал ракушняк и каменно рассыпался на зубах, о “дельфинчиках” — монетках жителей греческого полиса Ольвия, о египетской танцовщице Неси-Та-Уджат-Ахет...

На Ланжероне (одесский пляж) как-то мы нашли домик рачка-отшельника, раздавленный, вдруг М. Я. говорит: “Наверное, древние увидели вот такую же раковинку и придумали амфору”.

Мне потом сделали распил похожей раковины — два плоских среза, и стала очевидна форма сосуда; один из них М. Я. положил в кармашек своей знаменитой рубашки в клеточку, второй хранится у меня.

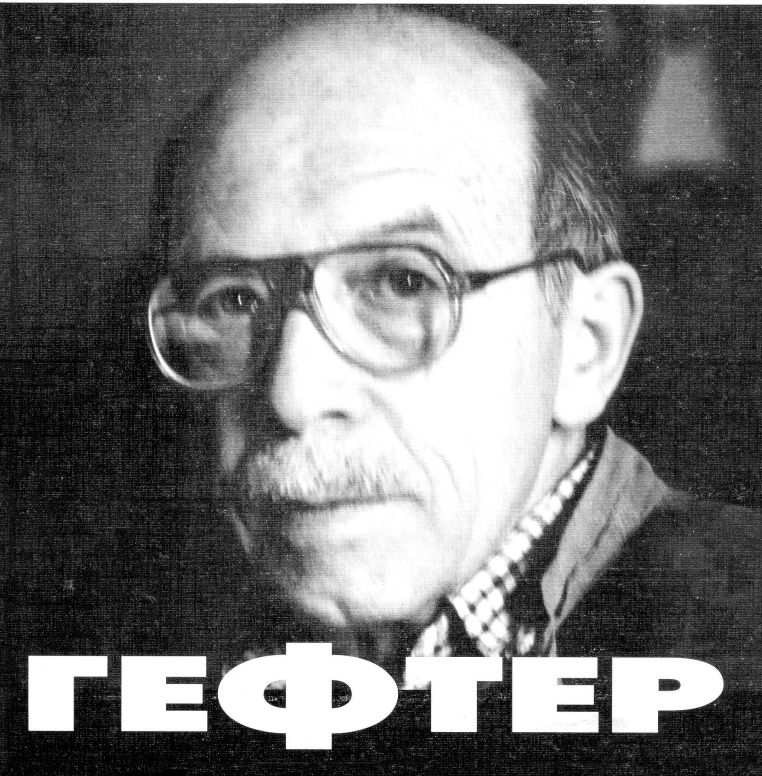
Виделись мы часто, я, приезжая в Москву, теперь жила в черемушкинском доме, и Рахиль Самойловна с Михаилом Яковлевичем первый вечер всегда проводили по-одесски: мы готовили икру из синеньких с “Привоза”, бродили по аркадиевской дороге над морем и долго еха-

ли по любимому восемнадцатому маршруту на Большой Фонтан, и еще дальше, уже на “тянитолкайчике” (это маленький трамвайчик с мордой в обе стороны) до писательского дома, где однажды отдыхала Рахиль Самойловна, с обязательностью забредая в старый монастырь — когда-то М. Я. сказал

кой Отечественной, мы познакомились, и М. Я. сказал: а ты покажи ей Одессу и одесские памятники этого времени, ты же все их, наверное, знаешь?

Я действительно объездила многие кладбища в области, описывая воинские захоронения, и Нина с мужем приехали в Одессу, мы встретились...

МИХАИЛ



ГЕФТЕР

мне, глядя на могилу святого Кукши, что хотел бы так уверовать, чтобы решиться принять крещение... К этой проблемной для М. Я. теме мы не раз возвращались в беседах.

М. Я. любил вспоминать “об одесском периоде” — о любимой Фриде (Фриде Владимировне Блюменфельд, родной тете М. Я., очень мужественной, жизнерадостной, с трагической личной историей. Я долго дружила с Фридой, не зная, что они с М. Я. родственники, пока однажды в разговоре не пересеклись имена — и состоялась встреча М. Я. с Фридой через тридцать лет не встреч; потерялись по жизни — страшные события: лагеря, война, гибель родных людей — разбросали семью).

Потом перебрасывался мостик в Крым — и начинался “симферопольский период”: детство, мама и брат, друзья. И всегда вспоминалась скатерть из детства, из лоскутков — на квадратном столе в центре комнаты — М. Я. эту скатерть из детства очень любил, она стала для него символом домашнего тепла и уюта.

Он вообще любил дом, и когда за большим столом собирались, чай пили — вприкуску с разговором. Однажды приехала из Америки Нина Тумаркина, рассказывала о своих поисках памятников погибшим на Вели-

Это обычное дело для М. Я. — расширять свой обеденный стол на страны и города, чтобы за ним поместилось как можно больше разного симпатичного народа. Такая вот счастливая особенность характера.

Однажды нам с М. Я. приснился один и тот же сон, то есть — сны пересеклись; ему снилась война, не отпускавшая его память: московское ополчение, зима, метель, он пробивается с солдатами-однокурсниками через ветер, вдруг взрыв гранаты, и... граната влетает в мой сон о Переяславской Раде, и огонь бежит по сухой степной траве в жарком моем сне, мы вскакиваем и стalkerваемся у двери: “Ты что видела?” — спрашивает взволнованно М. Я. “А ты?” — и больше никакого сна, потому что возник разговор, на который приходит Рахиль Самойловна, ставит чайник, и уже втроем не спим. Рахиль Самойловна рассказывает нам успокаивающие истории из жизни их мальчиков, Валентина и Володи: как М. Я. учил их храбрости.

Смеется — М. Я. точно так же учил храбрости нашего с Глебом Сережку: прыгать с бордюриков, заборов, ходить по бревну; а когда заморочишься с ответами на бесконечные детские вопросы — останавливать их поток каким-нибудь загадочным для ребенка словом, в Се-

режком случае таким словом, с легкой руки М. Я., стал “перпендикуляр”.

На даче в Салтыковке по ночам любили слушать, как яблоки в саду падают в траву — с глухим теплым стуком. Рахиль Самойловна сердилась, что не высыпается, что режим нарушаем.

Я варила мелко нарезанные кислые яблоки в большой жестяной кружке, М. Я. хотел много сахара, а Рахиль Самойловна сахара хотела поменьше, и смешно спорили, а потом придумывали “сладкие истории” из жизни, чтобы не грустилось. Грустилось же слишком часто. Времена были сложные, и состояния у всех непростые, и разговоры соответственные. Боже, как много их было, и какие прекрасные и неожиданные случались...

...Очень интересно становилось, когда приходили гости, я любила слушать беседы М. Я. с Юрием Григорьевичем Буртиным.

Помню почти четырехчасовую беседу о любимом М. Я. Гамлете, плавно перетекшую в любимого же Пушкина и далее — в метельные темы России: бесы Пушкина-Достоевского, бесы “разных времен и народов”, страшный сталинский бес...

...Когда умирала Фрида, мы с М. Я. были рядом, и она говорила с нами о жизни-смерти, рассказывала о том, как в лагерь умирала, в Казахстане — а она выписывала карточки, хитро выписывала, “прятала” покойников, чтобы еще “пожили”, чтобы их пайки доставались доходягам, которых мертвые могли спасти для жизни... Очень страшно было, мы все плакали, нет, Фрида не плакала, она нас... утешала.

Это была идея М. Я. — на Фридину могилу положить большую столешницу серого мрамора (с обеденного стола Фриды) и собрать под этой столешницей — ЗА этой столешницей — растерзанную советским временем семью Фриды: расстрелянного в лагере мужа Дудю — Давида Блюменфельда, убитого под Симферополем фашистами, вместе с бабушкой (мамой Михаила Яковлевича) убитого — сына их Вову. Над этой могилой стоят два бетонных куба, памятник, сделанный руками Вячека Игрунова, и стальная досочка, которую М. Я. привез из Москвы. На ней три имени — Фриды, Дуди и Вовы. Семья воссоединилась.

Вообще тема соединения для М. Я. — одна из наиглавнейших. Он писал мне: “...самое нужное на свете — соединиться одиноким и заброшенным. Неизвестно, сильнее или слабее они вместе или еще слабее, чем в одиночку.”

Мне показалось, что ты “прочла” мои весенние письма, прочла душой, 68-й год встретился с 42-м. Это хорошо, это прекрасно, но как это распределить по листочкам нашего календаря, где день, а затем

ночь, а потом снова день... Рецепта нет. А есть тоска и обаянность — жить, а не влачиться. “Единственный доступный нам заменитель бессмертия — начинать, начинать несколько жизней в одном существовании... Близость, взаимопонимание не непременно требуют пуда соли. Естественнее, сильнее, глубже — с ходу, “От Бога”. Сквозь барьеры лет, состояний, обстоятельств. В межвременье нет ничего спасительнее и существеннее такого взаимопонимания: близости. А ведь наше межвременье — одно из самых долгих и тяжелых. Оно требует выдержки. И более, чем какое другое, глубины. Не жестов, поз, красивых слов, котурнов, а стремления добраться до корня, упорства в этом стремлении (или даже одержимости этим).

Мы явным образом застряли на “предварительных истинах”, обелись ими.

Одних тошнит, другие по инерции продолжают долдонить то же самое, притом совсем не плохие продолжают, хотя и легко от самообмана переходят к обману, врастают в него, даже по-своему профессионализируются.

Мир несвободы и привилегий (две стороны одной медали) не то чтобы адаптирует — к этому он менее всего пригоден, а скорее, обминает, подгоняя под себя, незаметно опустошает. Сопротивляться... чем? Мозгом. Нравственностью мозга. Той независимостью, которой дано не отделять людей от людей, а приближать к людям с интересом и участием. С тем и другим.

Но все прописи плохи тем, что прописи. А как решить сегодня — это делать или не делать, так или иначе? Вот где она, “наша Голгофа”. Запрограммированность быта, каждого дня...

Мы часто бродили вдоль прибой втроем, с Вадимом Сергеевичем Алексеевым-Поповым, Михаил Яковлевич смешно говорил — они родственники: Пушкин, Жан Габен и Мандельштам. Они родственные души, поэзия всегда объединяет и роднит — читаем стихи любимых, кто первым? И начинал с любимого:

*Я скажу это начерно, шепотом,
Потому что еще не пора:
Достигается потом и опытом
Безотчетного неба игра...*

М. Я. научил меня важной вещи — слушать “шум истории” — как это, спрашиваю, как она шумит? “В кронах хвойных деревьев”. “Почему хвойных?” “Мне так слышится”. Обнял, посмотрел внимательно и сказал: не умеешь? А ты прислушайся ко мне, через меня услышь...

Мне теперь шумит История в кронах деревьев — разных, не только хвойных, в этот шум вплетен родной голос Михаила Яковлевича — я различаю его, потому что он говорит мне, со мной — постоянно. И об этом я обязательно еще расскажу.

23 февраля 2002 г.

Ольга ИЛЬНИЦКАЯ

Г.
Послушай, Москва, в твоём зимнем затворе,
в колючей поземке — одесское море
и пряность бульваров, акаций озноб,
Соборная площадь, ракушечный грот.
Зевки паровозных прощальных гудков
и оторопь чаек от рыбных лотков
на “Новом базаре”, на старом “Приводе”,
столица, я вся — поцелуй на морозе!

Ты помнишь мои ослабевшие руки,
когда, зажимая искусанный рот,
я молча кричала в бутырский сугроб.
Шел снег. Бинтовал застаревшие раны.
Еще о тепле говорить было рано —
грядет на дворе осемнадцатый год.
Поправь меня, милый, был восьмидесятый.
Потом еще долгих два года брели

по темной брусчатке на площади Красной
прекрасной, распутной, служивой страны.
Был страшен майор, что ключами гремел,
к тебе пропуская в тюремный предел.
Замерзший цветок на рубиновом снеге
навязчиво лгал о возможном побеге.
Что мне до надежды на стильной земле,
когда — ты меня — разлучала с любимым —
Москва! Сумасшедшая спящая дива
забытая, словно молитва в Кремле.
Простые слова повторить не боюсь,
пусть с ритма и пивмы, как школьник, собоюсь:
“Сын и муж. Вот и вся Россия.
Вешки — вежи — кресты косые”.

1983 — 99.

Когда Одесса провожает,
приглушен свет у фонарей.
А из окошек долетает:
“А зохен вэй, а зохен вэй”!

Теперь гуляю по Москве.
Моя рука в ее руке.
... И свет Кремля невдалеке.

2001.

Москва. Июньский зной.
А у тебя в зрачке
осколок голубой
на ледяном крючке.

Опять ты смотришь вглубь,
прислушиваясь чутко.
Но музыка молчит
торжественно и жутко.

И в этой тишине
я паузу держу.
И музыке твоей
молчанием служу.

Вокруг метет метель
древесным спелым пухом.
Мой Моцарт был глухим.
С немзыкальным слухом.

2000.